
Марина Ветрова
Екатерина Свет
Предательство жениха.
Ты сделал любовницу хозяйкой моего ателье, но потерял всё!

Екатерина Свет
Марина Ветрова

Предательство жениха. Ты сделал любовницу хозяйкой моего ателье, но потерял всё!

https://litres.ru/74709163
SelfPub; 2026

Аннотация

За месяц до свадьбы я узнала, что жених собирается отдать мою должность своей любовнице. А меня — отправить подальше, чтобы не мешала их счастью.

Но самое страшное выяснилось позже: Амин годами присваивал мои эскизы и продавал их под собственным именем.

Он забрал мою работу, мою репутацию и решил, что я покорно исчезну.

Ошибся!

Потому что влиятельный управляющий мануфактурой Хатем бен Юсеф заметил то, чего не видел никто: настоящим талантом здесь обладаю я.

Теперь мой бывший жених рискует потерять всё.

А мужчина, которого я считала холодным и недоступным, предлагает мне не только защиту, но и место рядом с собой.

Неужели после предательства возможна любовь?

Содержание

Глава 1. Ширма 5
Глава 2. Калька 13
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Марина Ветрова, Екатерина Свет
Предательство жениха. Ты сделал любовницу хозяйкой моего ателье, но потерял всё!

Глава 1. Ширма

Запах в примерочной ателье всегда один и тот же: тёплая пыль утюга, индиго из красильного цеха и чуть-чуть — шафран, который бабушка Умм-Икрам сыплет в мешочки с вышивкой, чтобы моль не тронула, а мы помнили, ради чего бережём её вышивку. Шафран пахнет, как воскресенье у бабушки: солнце на подоконнике, чай с кедровыми орешками, её пальцы, находящие мой изъян в строчке одним движением — вот тут, второй стежок сверху, ты спешила, Лея.

Стояла на коленях перед зеркалом, подкалывая подол свадебного платья — заказного, своё ещё предстояло сшить, — и держала иглы во рту, поэтому дышала носом, медлен-

но, как учила бабушка: «Ткань чувствует твоё дыхание, Лея. Злись — и она заколет тебе же пальцы». Заказчица, дочь владельца магазина благовоний, была капризная, тонкая, как тростинка, и хотела, чтобы подол струился «как вода, но чтобы держался, как характер». Характер я вшивала уже третий день. Семнадцать складок, каждая подколота, каждая отмерена на глаз и перепроверена ниткой.

За ширмой говорили. Сперва слышала лишь привычный шум — Амин разговаривал с кем-то из швей каждый день, у него бархатный голос, из тех, что делают с женщинами странные вещи: мы начинаем кивать раньше, чем поймали смысл. Он говорил и с заказчицами так — наклонится чуть-чуть, положит ладонь на ткань рядом с их рукой, не касаясь, и уже всё решено, уже всё согласовано, и они выходят из ателье счастливые, точно им вернули приданое. Четыре года любила этот голос. Через месяц собиралась выйти за него. У нас уже была назначена дата, заказан двор, тётя Марием варила пробную партию сладкого миндаля по выходным и заставляла меня пробовать каждую партию: «Ну? Ну как? Скажи честно». «Вкусно, тётя». «Вкусно — не ответ. Скажи: свадьба или не свадьба?» «Свадьба, тётя».

— ...к главному швейному столу подходить не будешь, — говорил он негромко. — Зачем тебе? Твой стол будет у окна.

— У окна сейчас сидит Лея, — ответил женский голос. Наиля. Узнала её сразу по певучему голосу — даже ножницы она просила нараспев. Она и ходила красиво — слишком

красиво для цеха: каблуки, браслеты, даже фартук у неё был как головной платок, повязан небрежно, с длинными концами, мешавшими при раскрое.

— Лея уедет, — отозвался Амин. В его голосе звучала усталая нежность — так он уговаривал меня по вечерам. — Она всё равно уедет после свадьбы. Я отправлю её к тётушке в Марсель. Дом, море, рынок с тканями — она мечтательница, ей там будет хорошо. А здесь, Наиля, здесь останешься ты. Главная швея ателье. Ты и я.

Иглы выпали у меня изо рта. Три штуки звякнули о паркет — тихо, почти нежно, как бубенцы на свадебных конях. За ширмой на секунду стихло. Замерев на коленях с последней иглой над подолом, смотрела на три маленькие иглы на паркете — они лежали параллельно, как стежки, возле носка моей туфли.

— Что там? — Наиля понизила голос и замолчала.

— Кажется, дверь, — легко отозвался Амин. — Сквозняк. Так о чём мы... ах, да. Смету главного стола подпишешь сама, мне не нужно ходить за тобой.

— Ты обещаешь? — Наиля вновь заговорила громче. — Про стол. Про должность. Ты знаешь, Амин, я не из тех, кто ждёт долго.

— Когда я тебе не выполнял обещаний?

Он засмеялся — негромко, горлом. Знакомый до боли смех. Четыре года он стоял у меня в ушах вместо музыки. Он смеялся так, когда тётя Марием спрашивала, когда свадьба.

Он смеялся так, когда я спрашивала, правда ли, что дочь судовладельца осталась довольна платьем. «Правда, правда, — смеялся он, — она плакала от счастья». Теперь его веселье обжигало стыдом. Плакала она или нет — позже выяснится ещё и то, что подпись под эскизом стояла не моя.

Осталась за ширмой, на коленях перед платьем. Подобрала иглы — все три, медленно, сжимая каждую покрепче, чтобы справиться с дрожью, — воткнула их в булавницу на запястье, разгладила подол, который подкалывала, — заказчица придёт завтра, и подол должен быть идеален, потому что я — Лея, закройщица этого ателье, и я не бросаю ткань на полпути, даже когда у меня самой пол вынут из-под ног. Докололa все складки. Седьмая легла криво, пришлось распороть и переложить. Двенадцатая — распорола и переложила. К семнадцатой руки перестали дрожать. Поднялась. Вышла через другую дверь, в коридор пахнуло чесноком из столовой, и до своего стола у окна дошла, считая шаги, села и стала рисовать на обрывке кальки рукав — новый рукав, с лампасом из индиго, который заказчица попросила «как-нибудь по-восточнее, но скромно».

Карандаш послушно шёл по кальке. Бабушка говорит: закройщице нужно унять дрожь, прежде чем вести линию. Дрожать можно внутри, под фартуком.

Свет из моего окна лежал на кальке косо и тёпло, и в этом свете линия лампаса вышла сразу — живая, с изгибом у запястья, даже стирать не пришлось. Пусть будет. Пусть лежит

на столе, как доказательство, которое ещё предстояло предъявить.

Вечером Амин пришёл за мной с цветами. Белые гвоздики, перевязанные синей лентой — цвет индиго, он помнил, что это мой цвет, он всё про меня помнил, он вообще был внимательный, оттого услышанное днём казалось такой дикой ошибкой. Вот в чём беда с обаятельными мужчинами: они помнят, что ты любишь, и не помнят, что ты есть.

— Стоишь тут вся такая, — заговорил он, кладя цветы на мой стол, поверх кальки, и накрывая мой рукав белыми лепестками, — а у меня весь день совещания, партнёры, контракты, голова кругом. Салим опять смету завалил, я его спасаю каждый месяц, скажешь тоже — мастерская, сплошные убытки и поэты. Поехали ужинать? У Мерима столик наверху, с видом на порт.

Он наклонился и поцеловал меня в висок — легко, привычно, как ставят печать на расписке.

— Амин. — Отодвинув синюю ленту от рисунка, подняла на него глаза. — А куда мы поедем после свадьбы?

— В смысле? — Он улыбнулся. — На неделю в Хаммамет, я снял дом у самого моря. С террасой, ты оценишь, там утром пахнет так, что просыпаешься и сразу рисуешь.

— А потом?

— Потом? — Он взял мои руки, мои исцарапанные ножницами пальцы, которые он называл «руки-птички», и четыре года это обращение казалось красивым, заставляло улы-

баться. — Потом будем жить, Лея. Ты будешь рисовать свои цветочки, я буду вести ателье. Всё будет хорошо. Тебе вообще не нужно будет вставать к станку, представь: спишь до полудня.

«Ты будешь рисовать свои цветочки». Он говорил это и раньше. Прежде за этими словами слышалась нежность. Сегодня в каждом слоге проступал расчёт: уберу подальше, чтобы не мешалась. Спать до полудня в чужом городе, у тётушки, о которой за четыре года слышала два раза, пока здесь, за окном, Наиля подписывает смету моего стола.

— А ателье? — Высвободив пальцы, прикрыла ими угол кальки. — Мне же здесь всё дорого. Станкам даже — и тем.

— Ателье мужское дело, — Амин ответил ласково и чуть свысока, как говорят с ребёнком, который лезет не в свою полку. — Ты твори, а распределять буду я. Ты не умеешь в это, и слава небу, что не умеешь. Один в доме должен быть с головой для порядка.

— Один, — отозвалась, поправляя примятый рукав. — Один — это ты.

— Конечно, я. — Он засмеялся, горлом. — Кто же ещё?

— Я тебя люблю, — добавил он ласково, глядя мне в глаза. Гладко. Как прошивка на дешёвом отрезе — ровная, красивая и ни к чему не ведёт.

— Я знаю. — Улыбнулась ему, приподняв подбородок. Помогала привычка: у закройщицы профессиональная память на линии, а улыбка — тоже линия, её ведут одним дви-

жением и не дают дрогнуть до конца.

Он ушёл, унося запах своего одеколона и моё спокойствие. Сидела, смотрела на гвоздики, примявшие рукав, и держала локти подальше от них. Пусть лежат. Пусть рукав помнит, чем его накрыли.

Дома сняла с пальца обручальное кольцо и долго держала его на ладони. Обычное, тонкое, с гравировкой «Л. и А.», которое он заказывал у знакомого ювелира и вручал со словами: «Теперь ты моя». Тогда, в ресторане, весь зал смотрел, тётя Марием плакала в платок. Сжимала его в кулаке так, что оно впилось в кожу, — и думала: Наиля — это одна. Кому ещё он всё пообещал? Кому обещал моё окно, мой стол, мои эскизы, мою жизнь, разложенную по чужим обещаниям, как отрезы по полкам? Марсельской тётушке — обещал меня. Наиле — обещал должность. Салиму — обещал, наверное, долю, раз тот подписывает сметы, даже не читая цифр. Дочери судовладельца — обещал моё имя. Он раздавал меня по кускам, как щедрый человек раздаёт чужие апельсины.

Кольцо я надела обратно. Пусть висит на пальце, как флажок на моей территории, пока я не узнаю всё до конца.

Тётя Марием позвала ужинать — кускус, рыба, оливки, оливки она в этот раз купила у торговца с Хаммы, крупные, масляные, во рту тают. Ела, кивала её рассказам о соседском сыне, который опять поменял работу: «Третий раз за год, Лея, помирай моё сердце. Неужели нельзя так, как люди: одна работа, одна жизнь, одна...» — она запнулась на слове

«жена», покосилась на моё кольцо и осеклась, и впервые за ужином повисла тишина: тётя умела осекаться.

— Тётя. — Отложив ложку, повернулась к ней. — А если бы ты узнала что-то плохое... про человека. Ты бы сразу сказала? Или сначала проверила? Ведь заговоришь — и он уже будет осторожнее. А промолчишь — ещё подумает, что всё ему позволено.

Она посмотрела на меня долго. Потом положила мне в тарелку самую большую долю рыбы, которая всегда была знаком «разговор окончен, ешь».

— Моя мать говорила: не тряси дерево, пока фрукт не созрел. — Тётя убрала ложку с рыбы и накрыла блюдо. — Но когда фрукт гнилой, Лея, его видно издалека. И его не жалко.

А внутри у меня, под рёбрами, тихо и деловито, как при подкалывании подола, раскладывалась по складкам одна мысль:

Завтра я приду на час раньше. И посмотрю, что лежит в контрактах ателье — под чьим именем.

Глава 2. Калька

Пришла, когда цех ещё спал. Станки молчали, только красильный корпус внизу дышал своим вечным запахом — индиго, уксус, мокрая шерсть. Тихо шла между столами, и утренний свет лежал на паркете жёлтыми полосами, как раскроенный шёлк. У чужих столов всё было на месте: у Рабьи — катушки, расставленные по цвету радуги, у старшей Хадиджи — плюшевый котик без глаза, которого она двадцать лет подкладывала под шею при глажке воротников. Мой стол стоял у окна, чистый, вчерашняя калька с рукавом — там, где я оставила. Окно моё. Свет мой. Пусть хоть на час.

Папка контрактов была в стеклянном шкафу у Аминова кабинета. Добраться до неё можно было только с ключом. Фареса нашла в красильном корпусе — он таскал воду к чанам, маленький, упрямый, с веснушками, редкими у здешних детей, и оттого все его считали отмеченным. В четырнадцать лет подмастерье оставался наблюдательнее многих взрослых и почти всегда молчал.

— Мне бы шкаф открыть, Фарес. Папку контрактов посмотреть. У Амина ключ всегда с собой.

— На цепочке, на шее, как орден, — подхватил мальчик, опуская ведро на пол. — А у меня второй есть. От бабушки Умм-Икрам. Она ведь тут главной вышивальщицей была,

ещё до него. Говорит, шкаф принадлежит ателье, а не Амину.

«Шкаф поставил мой муж, — говорила бабушка, — ключи сделала я, из ложек расплющила. Пусть попробуют отобрать». Теперь её упрямство выручало меня.

— Только тихо, госпожа Лея. — Он подал ключ на верёвочке и оглянулся на дверь. — Вы же не расскажете, откуда.

— Я никогда не рассказываю, откуда у меня ножницы. — Спрятала верёвочку в карман фартука и подмигнула ему. — У закройщицы это профессиональное.

Он засмеялся — тихо, в кулак, и сделал мне знак: туда, мол, и сразу назад, я сторожу.

Открыла шкаф. Дверца скрипнула; поймала её за рамку и отвела до упора. Контракты за два года, папки с картонными ярлыками, пахнущие пылью и чужими духами. Листала их всё медленнее — под ногтями похолодело, хотя в цеху было уже тепло, солнце поднималось.

Эскиз свадебного платья для дочери судовладельца из Сфакса. Мой. Восемнадцать эскизов, восемнадцать ночных рисунков, когда я переделывала лиф семь раз, потому что Амин сказал: «Заказчица капризная, сделай ещё лучше» — и добилась своего. Помнила каждый изгиб, каждый свой штрих, свою манеру вести линию плеча — одним движением, без отрыва, так меня научила бабушка: «Плечо должно дышать, Лея, веди руку как ладонью по воде». И помнила, как в четвёртой переделке плакала над лифом — злилась на

себя, комкала испорченную кальку, всё никак не получалось, — и как на седьмой раз вышло так, что сама ахнула. Вот этот лиф. Мой. У запястья — моя привычка, маленький завиток, как початок кукурузы, ставлю его всегда, почти бессознательно, как ставят точку.

Под каждым эскизом стояло: «Художник — Амин бен Салах, мастер ателье». Подпись размашистая, красивая. Он красиво подписывался. Он вообще всё красивое оставлял себе.

Эскиз вечернего гардероба для жены банкира. Мой. Подпись — его. Эскизы детского церемониального наряда для семьи из старого квартала — мои, мои, мои, страница за страницей, два года моей жизни, проданные мне же обратно голосом, который говорил мне «руки-птички». Развернула последний лист к свету. Мой завиток. Всегда мой завиток.

Сглотнула, всухую, до боли в горле. Закрыла папку, поставила её на место, заперла шкаф и села за свой стол у окна. Начался рабочий день, загудели станки, вошли швеи, пахнуло чесноком и мятой из столовой. Рабья прошла мимо, кивнула. Хадиджа — тоже. Для них началось обычное утро, а у меня в руках только что лежали два года жизни под чужим именем. Это ведь как ходить с чужой биркой на собственном платье — никто не заметит, а ты задыхаешься.

Фарес возник у моего локтя с чайным подносом для отвода глаз и прошептал, наклонясь, как поправляют нитку:

— Госпожа Лея. Наиля приходит в мастерскую по ночам.

Два раза в неделю, я видел из красильного корпуса, окна светятся. Ходят по столам, смеются. Он ей показывает папку с картинками. Красивыми. — Он помолчал и добавил совсем тихо: — Она по вашему столу водит рукой. Как будто примеряется.

— Спасибо, Фарес.

— А вас жалко, — выговорил он по-взрослому, сжав поднос. — Вы одна здесь рисуете по-настоящему. Я швы у ваших подолов проверял, когда помощником был. Вы даже с изнанки честно шьёте.

Он ушёл, а я сидела и смотрела на своё окно, на пылинки в солнечном столбе, и думала: он приходил сюда с ней ночью. К моему столу. К моему свету. Водил её рукой по моей кальке. И теперь вспомнилось — с точностью, от которой заныли зубы, — как однажды в понедельник на моей кальке обнаружился чей-то след от каблука. Маленький, полумесяцем. Тогда стёрла его и забыла. Вот так и живут обманутые: вся правда у них в доме лежит, полумесяцем отпечатана, а они её стирают и забывают.

Амин почуял холод — эти мужчины всегда чуют, они хищники, у них нюх на то, что добыча перестала дышать в такт. С расспросами он повременил, наблюдая из кабинета. Первым собрал всех швей.

В четверг на общем собрании ателье — двадцать швей, дядя Салим, начальник цеха, с мясистым лицом человека, который всю жизнь берёт долю за молчание, — Амин вышел

на середину и поднял голос:

— У нас большой контракт впереди. Ревизия, порядок, дисциплина. И я обязан сказать о проблеме. — Он повернулся ко мне, и лицо у него было скорбное, красивое, честное. — Лея — талантливая девочка. Но талант — это ответственность, а Лея в последнее время неустойчива. Мечтательница. Рассеянна. Подол для заказчицы из Туниса — переделывали трижды.

Подол он сам заставил меня переделывать трижды, потому что заказчице «что-то не так», а что — он не сказал ни разу. Позже это подтвердила сама заказчица: ей Амин говорил, что это я придирчиваюсь и прошу ещё срок. Мы оба работали на одну его ложь с двух сторон и не встречались.

— Поэтому, — продолжал он, — я перевожу Лею в цех грубой отделки. Временно. Её стол у окна передаётся Наиле — у Наили рука твёрдая, растёт мастер. Эскизы мастерской изымаются в пользу ателье — все рисуют для ателье, никто не рисует для себя.

По цеху прошёл шорох — швеи переглянулись. Хадиджа открыла рот. Рабья дёрнулась. У окна надо сидеть двадцать лет, чтобы знать, что значит отдать его.

— Все эскизы под твоим именем и так, — произнесла тихо, глядя Амину в лицо. После этих слов в цеху стало слышно каждый шорох.

— Вот видите. — Амин печально развёл руками, обращаясь ко всем швеям. — Неблагодарность. Всё, что есть у это-

го ателье, — моё имя и мой труд, девочки. Я поднял эту мастерскую. Я годами носил её на себе, и вот моя награда — упрёк при всех. — Он даже посмотрел в потолок, красиво.

Дядя Салим взял приказ и подписал, не глядя на меня. Его подпись была жирная, довлеющая, как он сам. Он вывел её со старанием, прижимая ручку до скрипа, — размашисто и сразу, затем отодвинул приказ от себя.

Мой стол передали Наиле в тот же день. Собирала свои вещи — ножницы, линейки, катушки, обрывки кальки с недорисованными рукавами — и Наиля уже сидела на моём месте, моё окно светило ей в лицо, и она щурилась от солнца довольно, как кошка. Она поставила на мою столешницу свою пудреницу и маленькую вазочку с пластиковой розой. Пластиковую розу на мой стол. Вздрогнув, сжала карандаш так, что заныли костяшки.

— Не обижайся. — Наиля сладко улыбнулась, поправляя розу. — Окно — это просто окно.

— Конечно. — Убрала карандаш в коробку. — Просто иногда за окном видно то, чего не видно внутри.

Она пожала плечами, занятая своей розой. И хорошо. Её непонятливость защищала меня: пока Наиля устраивалась, собрала последние листки.

Спускалась в цех грубой отделки — туда, где обмётывают края мешков, стригут ворс, где руки за час становятся серыми от пыли, — и держала коробку с вещами у груди, как ребёнка. На полпути меня догнала Хадиджа, сунула в коробку

свёрток: «Кус-курьёз какой, это не тебе, это вообще в столовую», — но свёрток пах свежей лепёшкой, а в столовой лепёшек отродясь не пекли. Швеи за спиной молчали, но после Хадиджиного свёртка стало теплее. Это я умею отличать.

И уже на лестнице свободно вздохнула, прижимая к себе тёплую коробку. Под рёбрами крепло спокойствие, как срастается ткань под правильным швом: встала к срезу, стянула, закрепила.

Кольцо я на этот раз сняла. Положила в карман рабочей куртки, в самый глубокий, и зашила его туда же вечером — крепко, двойным швом, чтобы не потерялось. Пусть лежит, пока не понадобится. Мне — для того, чтобы доказать. Ему — чтобы увидеть своё имя на своей подписи под чужими рисунками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.